

С. А.
АНДРЕЕВСКИЙ

Избранное



Сергей Андреевский
Книга о смерти. Том I

«Public Domain»

1922

Андреевский С. А.

Книга о смерти. Том I / С. А. Андреевский — «Public Domain», 1922

«Нет в жизни ничего поразительнее смерти. Она отрицает все, перед чем мы преклоняемся: гений, красоту, власть. Она делает наше отдельное существование таким бессмысленным, что, собственно говоря, каждому следовало бы сойти с ума от сознания, что он умрет. Но от этого никто с ума не сходит. Над раскрытой могилой прославленных людей произносят речи. В них обыкновенно говорится, что «безжалостная смерть» похитила этого человека, но что «его дела будут жить». Здесь сказывается и наша хвастливость перед силою смерти, и стремление побудить других людей продолжать без уныния заниматься общепольными делами. Но и то и другое бесцельно. Никакое хвастовство не запугает смерти, и никакие ее опустошения не остановят здоровых людей в их занятиях...»

Содержание

Часть первая	7
I	7
II	13
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Сергей Аркадьевич Андреевский

Книга о смерти. Том I

Пусть, когда закроется книга моей жизни, раскроется моя книга о смерти.

Я ее посвящаю вам, живые, не для того, чтобы омрачить ваше сердце, но для того, чтобы каждый из нас смотрел на свою жизнь, как на непроницаемую святыню.

Нет в жизни ничего поразительнее смерти. Она отрицает все, перед чем мы преклоняемся: гений, красоту, власть. Она делает наше отдельное существование таким бессмысленным, что, собственно говоря, каждому следовало бы сойти с ума от сознания, что он умрет. Но от этого никто с ума не сходит.

Над раскрытой могилой прославленных людей произносят речи. В них обыкновенно говорится, что «безжалостная смерть» похитила этого человека, но что «его дела будут жить». Здесь сказывается и наша хвастливость перед силою смерти, и стремление побудить других людей продолжать без уныния заниматься общепольными делами. Но и то и другое бесцельно. Никакое хвастовство не запугает смерти, и никакие ее опустошения не остановят здоровых людей в их занятиях. Они будут заниматься потому, что такова уже их природа и что всякая смерть ими забывается, будто она была суждена только покойнику, но не им. Но сколько бы там ни разглагольствовали ораторы, теснящиеся возле дыры с опущенным в нее гробом, об энергии человечества – все-таки всего менее энергии к «делу» может внушить именно этот последний мертвец. Всякий знает, что в агонии, когда мутился его ум, он был совершенно чужд тому делу, которое любил при жизни, и всякий уходит от этой зарытой куклы с сознанием какой-то неразрешимой нелепости. Недоумение это, впрочем, скоро проходит... до нового подобного же случая, когда совершенно заново – сколько бы похорон ни повторилось – возникает и опять так же быстро проходит то же самое недоумение. И так все живут от сотворения мира.

Природа нестерпимо умна, то есть так умна, что мы не только не можем переделать ее законов, но при всем нашем негодовании на нее, при всем нашем страдании от нее, – мы не в силах даже придумать иного устройства мира. Кажется, чего проще – устранить смерть, и все было бы хорошо... Но попробуйте. При настоящем строе все мило, потому что преходимо, – тогда бы все сделалось постоянным и стало несносным. Наша любимая земля, если бы только с нее решительно никогда и никуда ни за какие блага невозможно было уйти, сделалась бы нам столь ненавистною, что мы, сжимая кулаки и стуча головами о камни, изрыгали бы проклятия на те далекие звезды, которые теперь почему-то кажутся нам такими таинственными и сродными. Они были бы от нас еще дальше, чем теперь... Не было бы ни власти, ни религии, потому что никто бы не мог отнять жизни. Встречая постоянно Адама, Клеопатру и Александра Македонского, мы были бы к ним совершенно равнодушны и не имели бы истории. Поэт и художник ничего бы не создавали, потому что у них не было бы побуждений оставить свой след, да и мотивы для искусства совершенно бы исчезли в этой неизменной, неразвивающейся жизни. Все люди имели бы один возраст, и юность утратила бы свою прелесть. Все, что мы называем «благами жизни»: удобство, роскошь, ткани, которые нежат наше тело, колесницы и вагоны, избавляющие нас от утомления, дворцы, заставляющие нас забывать о погоде и климате, – все это не только бы лишилось значения, но едва ли бы и возникло, потому что холод бы нас не простуживал, голод нам не вредил, усталость не изнуряла и т. д. и т. д. Самое различие полов едва ли было бы нужно и возможно, потому что в обновлении человечества, сделавшегося неистребимым во всем его составе, не было бы надобности, а безграничное разложение его было бы очевидно невозможно. Словом, та именно жизнь, которую мы теперь так страстно любим, ни под каким видом не могла бы быть такою, как теперь, если бы не было

смерти. Сохранить ее в настоящем ее виде, с устранением из нее смерти, не было бы никакой возможности. И как ни странно, но следует сказать, что та жизнь, которую мы любим, создана не чем иным, как смертью.

Но как бы там ни было – смерть ужасна, отвратительна, непостижима!

И сколько я о ней думал!

Вот история этих мыслей.

Часть первая

I

*Туман лежит еще кругом
Над полем детских наблюдений...*

Стараюсь вспомнить, когда именно я получил первое понятие о смерти в самом раннем детстве. Для этого нужно рассказать о начале моей жизни.

29 декабря 1847 года, близ Луганска, в селе Александровке Славяносербского уезда, матушка моя разрешилась от бремени близнецами, из которых вторым новорожденным был я.

Александровка принадлежала двоюродному дяде моей матери, богатейшему в том крае помещику Сомову. Сомовский дом был настоящий дворец, с белым залом под мрамор, с гостиными, диванными, бильярдными, угольными, молельными и всякими другими комнатами, в том числе с «зеленою комнатою», в которой мы с братом родились. Матушка находилась там в центре своего многочисленного родства. Отец в то время переезжал на службу из Тифлиса в Петрозаводск. Невозможно было в такую далекую дорогу, да еще зимою, брать с собою двух крошек. Решили одного из нас, по жребию, оставить на воспитание у матушкиной сестры, проживавшей в Луганске с своим мужем, доктором. Жребий этот достался на мою долю.

Но я не долго оставался на руках у тетки и был передан ею на попечение моей прабабушке, которая перевезла меня в деревню Веселая Гора, в пятнадцати верстах от Луганска¹. Там-то я и прожил до девятого года, не выдав ранее ни отца, ни матери, у которых к тому времени уже было трое неизвестных мне сыновей (в том числе мой близнец) и одна дочь, старшая из всех нас.

Веселая Гора – чудесное, живописное село на берегу Донца, с громадным барским домом в сорок комнат. Если въезжать со стороны Луганска, то приходится спускаться в деревню с горы; влево, на небольшом холме, церковь, окруженная кустами желтого шиповника и опоясанная белым каменным забором. Далее, по главной улице, – хлебный магазин и стеариновая фабрика, а вправо – помещичий дом, белый, двухэтажный, со множеством окон и с балконами на все четыре стороны, причем с балкона, обращенного к саду, две лестницы спускаются до земли. Вслед за домом – Донец. По ту сторону Донца – лес, лес и лес, насколько видит глаз; да и на этом берегу Донца, позади помещичьего сада, такой же густой лес. И когда из дома смотришь на сад, то справа видишь высокую гору.

Здесь я проживал с прабабушкой и ее компаньонкой почти в полном одиночестве, потому что многочисленные потомки прабабушки были постоянно в разброде, а ближайшие члены ее семьи большею частью проживали в Луганске, где в то время поселилось целое общество образованных горных инженеров и где при чугунно-литейном заводе сосредоточилось управление горного округа. В просторных комнатах Весело-Горского дома мы жили втроем, окруженные разнообразною дворнею из крепостных: дворецкий, ключник, староста, нянька, прачка, булочница, птичница, коровница, старухи, приходившие дежурить на ночь, горничные, взрослые и малолетние, и т. д.

¹ Многие из этого периода моей жизни выражены мною в поэме «На утре дней» – в пьесе автобиографической от начала до конца, с весьма прозрачной маскировкой действительности. Не повторяю здесь всего того, что там уже сказано.

Прабабушке моей было уже за восемьдесят лет. Она была сухошавая, маленькая, сторбленная и глуховатая, но зубы у нее сохранились, и ее реденькие волосы были темно-желтого цвета, без седины; она их связывала в узелок на макушке и прикрывала белым чепцом только при чужих. Платье носила черное, недлинное, с поясками, которые она любила перебирать в руках. Компаньонка, вдова одного харьковского чиновника, – институтка по образованию, – была белая и розовая пятидесятилетняя женщина с лысеющим пробором среди головы, с маленькими светлыми начесами, прикрывавшими, по тогдашней моде, наполовину ее уши. Она говорила медленно и явственно и писала красивым почерком; руки у нее были полные, правильной формы, с веснушками. Она часто надевала черные вязаные митенки и носила в ушах маленькие серебряные серьги. Эта добрая Надежда Васильевна первая обучила меня грамоте; она же преподавала мне Священное Писание по маленькой книжке без переплета, напечатанной на толстой и мягкой, как вата, бумаге. В книжке были картинки, но такие тусклые, что в жертвоприношении Авраама я никак не мог найти барашка, хотя мне и указывали его в одном углу картинки, где что-то сгущалось в загадочное пятно. Я постоянно возвращался к этому пятну; в иные дни мне казалось, будто я различаю голову барашка, высунувшуюся из травы, но потом я снова терял эту способность и не умел видеть даже этой головы.

Обе женщины были чрезвычайно религиозны. Прабабушка, с которой я спал в одной комнате, всегда утром и на ночь молилась очень долго. Она произносила молитвы вполголоса, иногда останавливаясь перед киотом, у которого всегда горела лампадка, но большею частью молилась, расхаживая по комнате и продолжая на ходу свой утренний или ночной туалет. Случалось, что она даже прерывала свою молитву и звала за чем-нибудь горничную, но потом опять принималась твердить святые слова с деловым видом, как будто все это установлено навеки и никогда иным быть не может.

Посты соблюдались строго. В церковь мы ходили на каждую службу, кроме заутрени. По воскресеньям отец Иоанн с дьяконом всегда приходили после обедни в господский дом. Священник совершал краткую молитву и, подобрав широкий рукав своей рясы, благословлял завтрак. На столе всегда было одно и то же неизменное угощение: на одном блюде лежали пироги с творогом, к которым подавали соусник со свежей сметаной, а на другом – пироги с кислой капустой и перцем.

Так, помнится мне, проходили неделя за неделей. Между тем я начинал вбирать в себя жизнь с любопытством, изумлением, радостью и задумчивостью. Все мои пять чувств и моя робкая мысль пробудились сразу. К Пасхе приготавлился длинный стол с волшебными блюдами и вокруг масляного барашка клалась первая травка – кресс-салат, – которую заранее сеяли в цветочный горшок и затем выращивали под стеклянной запотелой банкой на том окне, на котором чаще всего светило солнце. И эта курчавая нежная травка пахла такою свежей крепостью!..

Разлив Донца напоминал мне потоп: вода совсем покрывала белый забор, ограждавший усадьбу от реки, а затем кое-где, сквозь рябые волны, торчали голые ветки только самых высоких кустарников. На Донце появлялись желтые дощатые плоты; я смотрел из окон второго этажа, как они вдруг показывались с одной стороны – двигались медленно, почти не приметно для глаза, с двумя-тремя незнакомыми мужиками на них, и затем исчезали в другой стороне, проплывая мимо меня, подобно волшебным островам, которые посылались из одного неведомого царства в другое... Земля просыхала, деревья покрывались почками и зеленели... Качели в саду скрипели протяжно и мерно, когда с них соскакивали дворовые девушки, – и долго еще после того не могли умолкнуть... и я их слушал... Кукушка в лесу, за садом, отсчитывала чьи-то годы таким милым звуком. Невидимые лягушки квакали с упоением, перекрикивая друг друга с каким-то забавным и настойчивым хохотаньем. Укроп на грядках огорода, шпанские мухи в листьях ясеневого аллеи начинали издавать сильный, новый для меня запах. В едва рас-

крывшихся тюльпанах блестела роса, и у меня захватывало дух от радости, когда я заглядывал в нежную внутренность цветка...

Наступило лето. Солнце блистало и жарило. Все сорта цветов распускались и отцветали. Мухи распложились неимоверно; в сенях нижнего этажа они покрывали окна и потолки; несмолкаемый звон встречал меня, когда я проходил через сени, озаренные солнцем... А затем: запах первого снега в воздухе, вкусные щипки первого мороза на щеках, чудесные льдистые узоры на окнах... Или еще: каким счастливым холодом дрожало мое детское тельце, когда меня впервые разбудили, чтобы вести на пасхальную заутреню! Какою очаровательно казалась мне серая темнота раннего утра при свечах!

Но и мысль моя пробуждалась. Прежде всего я узнал, что душа моя бессмертна. Душа представлялась мне в виде ангельской головки с крылышками, как рисуют херувимов. Мне объяснили, что эта невидимая душа помещается где-то в горле, вместе с дыханием, — и я верил этому и старался нащупать свою душу, прикасаясь пальцами к шее, и страдал от невозможности ее увидеть. Обо всех умерших окружающие всегда говорили: «на том свете». Я смотрел на небо, как на будущее жилище мое, куда улетит эта душа. Луна и звезды казались мне моей далекой родиной, куда меня со временем непременно возьмут. Они представлялись мне очень заманчивыми, но в то же время я иногда боялся этих высот, находя слишком грустным расстаться со всем тем, что вокруг меня раскрылось и что я так полюбил...

Первый покойник, о котором я слышал рассказы, был дедушка Андрей Яковлевич, бывший владелец Веселой Горы. Его уже не было, когда я начал сознавать себя, но о нем часто вспоминали в доме. В одной из дальних комнат нижнего этажа я видел его большой портрет на полотне, масляными красками, без рамы, висевший рядом с таким же портретом его вдовы, которую я знал; она была мало похожа; вероятно, и дедушка был плохо написан; он был изображен еще не старым, с темными волосами, с густыми усами и с перстнем на указательном пальце. Я не мог, однако, представить себе по этому портрету, каков он был живым. Но я убеждался, что картину писали именно с него, и никак не умел объяснить себе, как и куда он девался. Мне рассказывали, что он очень любил меня и перед смертью потребовал, чтобы меня принесли к нему, да так, будто, и умер, держа меня в своих руках... Я удивлялся, что в такую важнейшую, волшебную минуту я почему-то ничего не мог чувствовать и что дедушка, столь любивший меня, никакими силами не мог высказать мне своей любви, а главное, что мне, своему любимцу, он ничего не шепнул о том секрете, который с ним приключился и которого я теперь никак не умею разгадать...

Слово «мертвый» запало мне в голову из одной сказки. В долгие зимние вечера мне случалось сидеть в большой и темной столовой, где-нибудь в углу среди молоденьких горничных, из подростков. Они садились на пол, в кружок, и которая-нибудь из них брала меня к себе на колени. Самая бойкая и речистая из них, Аксиныка, тихим голосом рассказывала сказки. Помню, что в одной сказке повторялся припев:

Месяц светит,
Мертвый едет,
Живую везет,
Не боишься ли ты, моя душенька?

И как раз при этих словах на полу в темной комнате обозначился белый с черными переплетами отблеск окна, освещенного месяцем. Эти слова, запавшие мне в душу при свете луны, сделали то, что «мертвый» вызывал во мне чувство холода и грусти.

Раза два случилось, что на деревне кто-то из крестьян умер. Тогда раздавался «звон по мертвому». Я запомнил его с первого случая, потому что как только я его услышал, — необъяснимый испуг и беспредметное горе подступили к моему сердцу. Тонкий колокол невнятно,

тревожно и часто повторял нежные, слезливые звуки, иногда чуть слышные, относимые в сторону ветром; потом раздавались реже, через секунду, более громкие удары – и все завершалось наиболее громким отзвоном, как бы умышленно оборванным... И через некоторое время опять слабо-слабо, как будто где-то за тридевять земель хныкал ребенок, возобновлялся мелкий звон – возобновлялся так неуловимо и вкрадчиво, что я обманывался, не верил своим ушам и прислушивался, полагая, что это плачет воздух... Но нет! звон понемногу выделялся очень явственно, и эта растянутая, ноющая песня повторялась до трех раз... И на долгие годы после того она каждый раз мучила мое сердце.

На горе за нашей деревней, несколько в стороне от дороги, ведущей в Луганск, была часовня из красного кирпича с одинокою синею главою в виде луковицы. Серый заборчик, с кустами сирени внутри, окаймлял часовню. Я видел ее с дороги и никогда о ней не думал. Но мне довелось узнать ее ближе.

Едва ли мне было более четырех лет, когда в Веселой Горе умер полугодовой ребенок моей тетки Евгений. Помню, что его всегда носили на руках, бледного и ласкового, с голой головкой. Я совсем не заметил, как и когда он умер; знаю только, что меня не пускали к нему в комнату, а затем, в течение целого дня, не пускали в столовую, где обе двери были затворены. Помню, что мы перевозили в ограду часовни розовый ящик с белыми позументами. Я сидел у кого-то на коленях в карете и смотрел на этот маленький ящик и плакал, видя, что плачут другие. Позади часовни была разделана стена, и на моих глазах этот красивый гробик был спущен мужиками на длинных полотенцах в глубокое подземелье... Из разговоров я узнал, что гробик Евгения был там поставлен на гроб Андрея Яковлевича.

Как-то, много времени спустя, я гулял с нянькою за деревнею, и мы зашли с ней в ограду часовни. Густой бурьян разросся перед тою заднею кирпичною стеною, под которою я видел подвал. Мы едва пробирались через траву; стена была целая, и мне думалось, что я только видел во сне, будто она в тот раз открывалась. Но невдалеке от стены старая няня нашла в траве глубокую норку. Она к ней наклонилась и заглянула в нее, а когда поднялась, то тихо сказала мне: «Оттуда несет мертвым духом»... Но я побоялся прикинуться к земле...

Прошло еще немного времени.

Был у меня родной дядя по матери, молодой помещик, живший в своем имении Раевке, в семи верстах от Веселой Горы. Высокий, худощавый, темно-русый, с острыми серыми глазами, с вьющимися усами и резкою ямкою на подбородке, дядя Родя был красив, остер и зол на язык. Он умел рисовать такие карикатуры на бумаге и на карточных столах, что всех очаровывал, даже тех, с кого их писал. Я его побаивался. Он не любил, что меня слишком нежат, и если где-нибудь заставлял меня одного, то сейчас же поднимал меня сзади за уши до своей головы; это он называл «показывать Москву», а я между тем орал от боли... Но со стороны, втихомолку, я любовался тем, что он всех покорял себе.

Дядя Родя женился в Харькове, и я помню тот день, когда он привез к нам свою жену – показать прабабушке. Жена его была небольшого роста, крепкая, но не полная, очень белая с очень черными, плоско причесанными волосами. Помню ее парадное платье из модной в то время тяжелой шелковой материи (damas) розового цвета с затканными по ней большими белыми букетами. Вокруг ее шеи поднималась тюлевая рюшь. Она часто и весело смеялась особенно приятным смехом, в котором слышались басовые нотки. Со мною она как-то бодро шутила и, казалось, находила меня любопытным ребенком. Прабабушка подарила ей нарочно выписанную для нее золотую чашку в шкатулке из светлого дерева. Эта шкатулка была внутри отделана белым бархатом, и в нем были две ямки: для чашки и для блюдечка.

Вскоре после того я как-то проснулся в ясное летнее утро и рассматривал голубые обои с белыми разводами на стене возле моей кровати. В это время (я помню, что это случилось, именно когда я рассматривал обои) няня, надевая мне чулки, сказала: «А вы знаете, что дядя Родион Николаевич пропал?»

– Как пропал? Совсем? Куда же?

– Да вот, его везде уже искали и нигде не могут найти. Бабушка сейчас едут с вами и со мною в Раевку.

Известие это было очень странно. Мы поехали в Раевку; прабабушка всю дорогу молчала.

В Раевке я бывал и раньше, но деревню эту запомнил неясно. Знаю, что у дяди был одноэтажный, просторный дом и что все в этом доме было чистое, новенькое. Две комнаты остались в моей памяти: дядина уборная, обтянутая свежим тиком с белыми и синими полосками, и светлая гостиная, в которой перед камином стоял экран с вышитыми гарусом пастухом и пастушкой. Когда мы приехали в Раевку, то застали молодую жену дяди в этой гостиной, и она почему-то, разговаривая с бабушкой, плакала. Затем обе они вышли на крытую галерею крыльца и уселись в ее глубине, а няня увела меня от них через двор за ворота. В задней стороне двора виднелись белые новые конюшни. Там сустились мужики, и все почему-то смотрели в ту сторону, словно оттуда чего-то ожидали. Но мы вышли с няней за ворота и пошли к реке Донцу. И я живо помню при свете жаркого солнца белые пятна пены на тихой воде в том месте, где, как мне объяснила няня, мыли лошадей. Мне рассказывали, что дядю все время ищут вдоль реки и на том берегу, потому что он будто бы заблудился именно где-то в этих местах.

Наконец со стороны конюшен разнеслась весть, что дядя убит, что тело его сейчас нашли в Донце и что кучер Платон сознался в убийстве. Он говорил, что убил барина в эту ночь, когда тот, застав его в пьяном виде, приколотил его. Платон рассказывал, что ударил дядю в висок, а когда дядя упал, то он сильно испугался; когда же увидел, что дядя умер, то опять-таки со страху привязал ему камень на шею и бросил тело в Донец.

Бабушка со мной и неожиданной вдовой поспешила уехать к моей тетке в Луганск, за пятнадцать верст от Раевки. В карете вдова все время рыдала. Помню, что мы подъезжали к Луганску мимо каких-то садов. Погода испортилась; ветер трепал и пригибал деревья – и на стеклах кареты показались мелкие, редкие брызги дождя.

По приезде в Луганск вдова тотчас же легла у тетки за ширмы. Она, не переставая, мычала от иссякших слез и ни с кем не разговаривала. Все были поражены, приходили в ужас, горевали и шептались... Большинство повторяло одну и ту же мысль, что «Родя на свою погибель построил себе новые конюшни, в которых и был убит». Я с трепетом ожидал: доведется ли мне увидеть дядю Родю таким, каков он теперь и каким его видят разные мужики, оставшиеся возле него в Раевке? Я думал: что с ним теперь? Что от него осталось?

Прошло несколько дней в общей подавляющей грусти. В моей голове все время торчала Раевка с ее двором и с моим высоким исчезнувшим дядею. Я постоянно смотрел в ту сторону небес, где была эта деревня, и мне казалось, что оттуда расползлось что-то страшное и широкое, покрывшее собою, как тучею, всю нашу жизнь.

Вскоре все родные направились к нам, в Веселую Гору. Туда привезли дядю. Я видел его закрытый длинный розовый гроб, поставленный на двух голубых табуретах внутри нашей часовни, где происходило отпевание. Пол в часовне был песчаный; на задней стене был нарисован Господь Вседержитель, молодой, светлокудрый, в короне, с державой и скипетром, среди нежно-голубого неба. Все были одеты в черном, стояли на коленях, горько плакали и били поклоны. Священник поминал «убиенного Родиона»... Я смотрел сквозь дым ладана на гроб, и мое воображение отказывалось постигнуть, что в нем заключалось: дух? мертвец? дядя? Может быть, ничего, кроме памяти о дяде? Может быть – нечто нестерпимое для глаза?.. Тайна делалась для меня все более и более глубокою... Я представлял себе мертвеца не человеком, а спящим духом, перед которым уже раскрылась будущая жизнь. Мне думалось, что даже те, которым случается смотреть на мертвеца, не могут вполне его видеть; я воображал себе его чем-то вроде продолговатого светящегося облака, у которого нет видимых границ. Так я фантазировал.

Но первых мертвецов я увидел (хотя бы издали) лишь тогда, когда уже меня взяли из деревни и привезли в Екатеринослав, в мою семью. Мне тогда шел девятый год. Наша квартира находилась в нижнем этаже, на перекрестке двух улиц, из которых одна поднималась на кладбищенскую гору. На юге несут и перевозят покойников в открытых гробах. Часто случалось, что на звуки церковного пения домашние сбегались к окнам. Тогда я видел, как среди толпы колебался длинный плоский ящик, суженный книзу. В верхней части этого ящика лежала непривычно бледная, желто-серая и какая-то скверная голова... Я боялся присматриваться... Мне казалось, что мимо меня проходит самая страшная тайна мира. Другие, по-видимому, не испытывали моего страха: братья всползали на окна и спокойно рассматривали шествие; отец стоял позади, заложив руки за спину; прислуга с любопытством вытягивала головы, и только все набожно крестились, когда показывался покойник. А мне представлялся дом, откуда вынесли этого, так недавно жившего человека. Я воображал себе, что чувствовали его близкие. Неужели этот ужас заглянет когда-нибудь и к нам?..

Те же процессии попадались мне и на улице. Сердце сжималось; я не знал, куда деть глаза. Те же безотрадные напевы, но более явственные, не заглушённые окнами, терзали мой слух; толпа мерно проходила мимо; я слышал рядом с собою топот ее ног и углом своего глаза видел хоругви, перевязанные полотенцами. Я издали рассчитывал, как бы пониже опустить голову, чтобы не оглянуться на покойника, и каждый раз невольно оборачивался в его сторону. И каждый раз я видел сухое и острое лицо, как бы выставленное на суд распростертых над ним небес...

Живешь, бывало, так просто, удобно, будто иначе и быть не может, будто все вокруг понятно, интересно, разумно. И вдруг... звон о покойнике!.. значит: кто-то сейчас умер!.. Или: в каком-нибудь низеньком домике, днем – три больших церковных свечи в угловой комнате, значит: там лежит мертвый! И все окружающее становилось для меня странным, случайным, горестным. Я переносился мыслью в неизвестную мне семью, где переживалось это несчастье, и никакие развлечения в нашей собственной семье не могли разогнать того холодного спазма, который охватывал мое сердце. Это настроение длилось до трех дней, когда я знал, что покойника наконец унесли и что все идет по-прежнему.

Однажды у нас кто-то сказал: «Василевская умерла». Это была старая дама, которую я видел всего два раза. И вот я несколько суток подряд страдал из-за этой Василевской, сосредоточенный над нею одной в целом мире! Я постоянно думал о ее смерти, как за нее, так и за всех живых... Я углублялся в эту Василевскую до бесконечности!.. Я чуть не разболелся. Бодрость возвратилась ко мне лишь тогда, когда я узнал, что ее похоронили. «Теперь, – думалось мне, – с нею все кончилось, как следует, и страдать о ней больше не нужно». Это было тогда, когда мы уже не жили на углу той улицы, которая поднималась к кладбищу, а наняли квартиру на бульваре, в отдельном доме, с девятью окнами и мезонином, с зелеными ставнями в виде жалюзи и с желтой крышей. На мезонине был балкончик. Из-за дома виднелись деревья сада.

II

Сестра моя Маша была двумя годами старше меня. Меня привезли в мою семью на девятом году из деревни. Из полного одиночества я попал в общество трех братьев и сестры. Все они мне казались любопытными, чужими и в то же время как-то законно близкими. Но я наблюдал их немножко как посторонний. Сестра Маша имела отдельное помещение. Чувствовалось, что она совсем особенная. У нее были калмыцкие глазки, черные, как смоль, волосы, и необыкновенно белая, нежная кожа. Обособленная от других, она выросла в невольной мечтательности. Она любила мифологию, и когда ей случалось присоединяться к нашим играм, она предлагала «играть в богов». Накидывая на голову свой теплый стеганный халатик, она бегала по комнатам, говоря, что она «несется в облаке»... Надо было выжидать, к кому из нас она спустится. И вот когда она спускалась ко мне и на каком-нибудь кресле окутывала меня всего с головою своим халатиком, я чувствовал в потемках, в ее близости, невольное биение сердца.

На четырнадцатом году жизни я весь отдался чтению поэтов; везде я встречал любовь как самое глубокое и сильное явление жизни. Женщина облакалась для меня в нечто непередаваемо привлекательное. Когда я учился истории, я не постигал, как можно было поступать жестоко с женщинами: все они казались мне носящими в себе необъяснимую прелесть и счастье. В книгах, которыми я увлекался, всегда говорилось о любви, как о чем-то важном, решающем судьбу целой жизни. Я думал, что я буду ничтожным, пока не испытаю любви. Кто же вызовет во мне любовь? Кто придаст моей жизни значение чего-то священного, глубокого и важного? Кто заставит меня испытать это великое чувство?

Вспоминая те особенные ощущения, которые меня охватывали вблизи Маши, я решил, что я давно уже, незаметно для себя, люблю ее. Эта мысль мне пришла в голову однажды днем, когда я после какого-то чтения прилег на свою кровать в большой комнате мезонина, где мы, четыре мальчика, имели свою классную и дортуар. Чтобы проверить себя, я задумал пойти вниз и посмотреть на Машу. Я нашел ее в гостиной, за книгой, в темно-синем длинном платье на вате. Это было зимой. Она меня не заметила. Я присел и начал ее рассматривать. Ее лицо было неинтересно в эту минуту: она углубилась в книгу, ее черты вытянулись. Она была совсем взрослою; на вид ей можно было дать около двадцати лет. Ее бюст казался совсем дамским. «И я ее люблю, – повторял я себе, – и она этого не знает!». И с этого мгновения совершенно особенное чувство к Маше окончательно завладело мною. Я начал придавать себе значение глубоко страдающего и никем не понятого человека. Мои думы постоянно возвращались к Маше. Мне было странно смотреть на нее и сознавать, что она совсем не подозревает того, что происходит во мне. Почему-то мне нравилось как можно больше удаляться от нее. Мне казалось, что она почувствует наконец когда-нибудь, насколько я постоянно наполнен ею, и что ей будет поневоле все чаще и чаще недоставать моего присутствия. Подражая Байрону и Лермонтову, я находил особенное счастье в этой непонятной, гордой, замкнутой и горькой любви. Обращение мое с Машей, незаметно для меня самого, резко переменилось. Я старался говорить другим в ее присутствии, как будто не обращая на нее внимания, смешные, колкие, оригинальные вещи. Я «коварно кокетничал»; я чувствовал, что я интересничаю и достигаю цели. Маша смеялась, увлекалась моими шутками и – я это видел – находила удовольствие в моем обществе. Тогда я удваивал часы моего отсутствия. Маша полюбила мои мнения, мою наблюдательность. В прогулках и развлечениях она предпочитала мое общество обществу остальных братьев. Сколько мог, я избегал быть ее спутником и тем самым терзал и себя, и ее. Рядом с этим я ценил на вес золота каждую ее нежность. Я завел дневник (потому что только теперь нашел свою

жизнь достойною внимания) и в нем отмечал каждое «mon cher»², которое она мне говорила. Она мне говорила «mon cher» гораздо реже и совсем иначе, нежели другим братьям, – как-то тише, будто незаметно. Я радовался, что ей понемногу сообщается некоторая неловкость в обращении со мною, – и я чем чаще отсутствовал, тем больше замыкался в себя, чтобы не выдать как-нибудь своей «роковой» тайны. Мне хотелось, чтобы она меня полюбила и в то же время видела, как я далек от нее и недостижим. В мою голову засел пушкинский стих: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Лермонтовская жестокость к женщинам, как рецепт для победы, тоже подстрекала меня к этой искусственной холодности. Мое обожание возрастало вместе с напускным равнодушием. Мне мечталось о такой невозможной минуте, когда бы Маша вдруг услышала мое признание. И я упивался самой невозможностью подобной сцены... Я набрасывал стихи в своем дневнике. Помню выстраданное двустиишие:

Закон, взаимность – все восстало,
Чтоб ты моею не была!

Для меня было ясно, что эта любовь зародилась при неодолимы́х препятствиях жизни.

Маше давала уроки английского языка единственная в городе англичанка, маленькая и красная старая дева, с пробором и рыжими локонами в виде сосисок вокруг всей головы. Приходя на урок, она вся блестела испариной и утомительно потрясала своими локонами. Тонкая золотая цепочка с часами под мысом украшала ее корсаж. Они запирались с Машей на час. У Маши завелись английские книги; она переписывала в тетрадки с линейками английские стихи. Почерк у нее был тонкий, чистый, изящный и безукоризненно правильный. Она носилась с Байроном *in folio* и затвердила его стихотворения «Прощай» и «Слеза» («Farewell», «A Tear») – ее любимые. Очень быстро она овладела языком и углубилась в английскую литературу. Англичанка была уже не нужна. Почему-то было решено, что Маша должна учить меня по-английски. Я приходил по вечерам в ее особый уголок, состоявший из двух комнаток – уборной и спальни, и там я ей отвечал уроки, а потом принимался за чтение вслух, и она меня поправляла, когда я не умел произносить какое-нибудь слово. Наши головы соприкасались под лампой; наши руки лежали рядом на странице, когда мы вместе следили за строчками. Однажды вечером, когда ее белая ручка, сжатая кулачком, с напряженными голубыми жилками и черным эмалевым колечком, лежала на книге перед самыми моими губами, я вдруг будто задохнулся и едва заметно, точно во сне, приник губами на одно неуловимое мгновение к этой руке; почти столь же мгновенно и, главное, в ту же секунду Маша, как мне помнится, очень горячо и так же неуловимо поцеловала мою руку. Между нами не было сказано ни одного слова, урок закончился как всегда без перерыва, и я всю ночь и весь следующий день мучился сомнением, случилось это или нет. Небывалый огонь горел во мне, и я без устали сосредоточивал всю свою память на этом странном, точно виденном во сне, мгновении. Мне казалось, что теперь именно, более чем когда бы то ни было, нужно не показывать даже вида, что это могло случиться. Как бы по безмолвному соглашению и Маша держалась точно так же. В течение следующих уроков о случившемся не было и помину. Мы с ней будто условились доказать друг другу, что этого и быть не могло. Но странность взаимных чувств увеличилась.

Весенние и летние месяцы этого года были для меня самыми влюбленными. Как я теперь понимаю, во мне говорила, по выражению Пушкина, «страстей неопытная сила». Воображение мое было чисто и невинно. Мое чувство обратилось к Маше потому, что она казалась мне сродственной по уму, что она была мне близка по мысли, что она угадывала мой ум и мою натуру. Безмолвие по главному вопросу между нами никогда не нарушалось.

² дорогой (*фр.*).

По вечерам нам, детям, подавали четырехместную коляску, и нам позволялось кататься по улицам города. Маша с тремя братьями садилась внутри, а я взбирался на козлы: там я был дальше от общей компании и потому интереснее. Оттуда, изредка, я оборачивался к остальным и говорил что-нибудь неожиданное и оригинальное из своих случайных мыслей, и затем быстро застывал в своем одиночестве возле кучера. Бульвары с тополями проносились мимо меня; земля бежала под колесами: колокольни храмов поднимались в разных концах города к тихому вечернему небу. Я кокетничал и страдал – и наслаждался. По возвращении я видел, как Маша, нехотя и скучая, уходила на свою половину...

И я, и Маша были религиозны. Я имел в сердце веру в того самого христианского Бога, Сын которого страдал на кресте и которому воздвигались храмы. Я любил архиерейское служение; я шел к обедне, как на беседу с небом; царственный блеск архиерейских одежд напминал мне «Вседержителя» на иконах. Я с первых дней был правдив и доверчив: я не понимал никогда цели какого бы то ни было обмана и потому всегда верил. Собор на горе с бархатным тронem архиерея посредине, архиерейский дом в саду, за горою, в долине, – все это мне казалось чудесным, волшебным, божественным. Случалось мне ездить с Машей, в сопровождении кого-нибудь из братьев, в архиерейский сад. Солнце садилось, кусты золотились, Маша ходила по дорожкам, небо вверху синело... я запоминал каждое ее движение, каждый поворот, каждое слово.

Как-то вечером она сидела у раскрытого окна на подоконнике. Она была в бледно-желтом кисейном платье с разрезными греческими рукавами. Большая, раскрытая книга Байрона лежала у нее на коленях. На обнаженных руках, упавших на книгу, чернели широкие браслеты из блестящего угля (жэ), только что входившего тогда в моду. Легкий пушок оттенял белизну этих юных и грациозных девственных рук. Был тихий летний вечер; пыль держалась в жарком и золотом воздухе; утомленные и посеревшие тополи были неподвижны. Не помню я, чтобы Маша когда-нибудь раньше или после была милее! Ее смолистые косы были туго заплетены двумя фестонами, ниспадавшими ниже ушей и соединявшимися сзади под широкими черными бантами. Я стоял возле нее, имея рассеянный вид и тупо глядя на улицу. И я сознавал, что возле этого привлекательного, женственного существа небывалым счастьем бьется мое сердце...

Эти минуты, проведенные с Машей у окна, как и то мгновение, когда я поцеловал ее руку за уроком английского языка, остались неизгладимыми в моей памяти. С того далекого времени на всю остальную жизнь я сохранил особое пристрастие к прелести женской руки.

Лето проходило в тех же неопределенных чувствах радости и страдания. Я любовался Машей и сам не знал, чего я желаю, и знал, что она никогда не услышит моих признаний и что она обречена кому-то другому. Я не понимал ревности и покорялся судьбе. Одно казалось: что никто другой не сумеет испытать моего счастья, потому что никто другой не найдет в Маше тех радостей, какие нашел бы я. Это была какая-то счастливая, неопределенная и тупая печаль. Время проходило в неуловимых грезах. И, право, я едва ли бы сумел вспомнить что-нибудь ясное из этих туманных дней. Вспоминаю, например, одно воскресное утро. Маша перешла из своих двух комнат, выходивших во двор, в угловую зеленую комнату, где у нее был и письменный столик, и туалет, и кровать за ширмами (ее две комнаты были отведены под спальню матушки, у которой родились близнецы). Помню, что Маша перелистывала английский кипсэк с женскими типами Вальтер Скотта. Она была нарядна, весела и цветуща, и я ей говорил что-то забавное по поводу каждой женской головки. В ее комнатке было светло, весело и благоуханно... Дверь была притворена. В открытое окно влетал мягкий и теплый воздух. Вдруг ударил оглушительный гром из солнечного неба. Мы закрыли окно – и воздух потемнел, и я вышел... И это утро почему-то осталось у меня в памяти. Мне было так хорошо возле умной, свежей и привлекательной Маши.

А вот еще воспоминание. Я сидел как-то днем один, на маленьком балкончике нашего мезонина, с какой-то книгой, кажется сказками Гофмана или «Записками охотника» Тургенева. Мысль моя была ленива; печатный шрифт лежал тонкой сеткой перед моими глазами под сильным и расслабляющим светом летнего солнца. Невольно отрывался я от книги и смотрел то вниз, на пустую пыльную улицу, то на жидкую чугунную решетку нашего балкончика с двумя гвоздями, торчавшими по ее углам для острастки птиц. Возле моего стула стоял другой пустой стул. Наверху никого не было; дверь в комнаты была открыта. Не знаю, как и зачем на балкон вбежала Маша с вопросом или предложением ко мне. Отчетливо вижу, что она была в сером барежевом платье с декольтированным лифом, который закрывался хорошенькой пелериной из той же материи с маленькой оборкой. Набежавший ли ветер или быстрота ее движения распахнули пелеринку – не могу сказать, но ее плечи и начало груди вдруг раскрылись; помню крошечное розовое пятнышко на молочно-белой коже; помню, что она положила мои руки на плечи, и я, задышавшись, поцеловал ее под пелеринкой, в горячую шею, и слышал стук ее сердца... и кажется мне, что это мгновение было еще короче, еще более похожим на сновидение, чем то, когда я коснулся губами ее руки. Но память упорно настаивает на своем, что все это несомненно было. Это был мой последний «безумный» поцелуй.

Безотчетное (хотя, как мне тогда казалось, глубокое) чувство неприметно начало сбиваться на нечто слишком безнадежное и утомительное. К осени Маша совсем выросла. В будущем «сезоне» она должна была выезжать. Наша матушка, любя в ней свою единственную дочь, замышляла сделать из нее совершенство. Маша была умна, образованна, обучена порядку; она вела счета по хозяйству своим прелестным почерком в графленных тетрадках; она была чиста, аккуратна, идеальна, грациозна; книги обогатили ее воображение; из нее готовилась очаровательная «жена». Она все более и более принимала вид большой девицы, и мое отроческое сердце неприметно начало причислять ее ко взрослым. Зимой она участвовала в любительских спектаклях, в живых картинах, знакомилась с женихами тогдашнего лучшего губернского общества, и у нас начали поговаривать о ее увлечении одним господином средних лет из богатых и спокойных помещиков, во вкусе английских лордов. Другой молодой дворянин из семейства, издавна связанного дружеским знакомством с нашим домом, увлекался ею. И вот я с неопределенною усталостью начал «предаться своей судьбе». К тому же и Маша не то что подурнела, но испортила себя тем, что начала преувеличенно заниматься собою. Прежняя простая прическа заменилась сложным завиванием волос на всей передней части головы. Маша начала необычайно холить свои руки и для этого почти всегда дома, когда не было гостей, ходила в перчатках. Она прибегала к пудре и губной помаде. И несмотря на все это, я видел, что Маша, формируясь во взрослую барышню, теряет прежнюю миловидность. Моя страсть к Маше, постоянно сдерживаемая мучительным отчуждением от нее, теперь начала давать на моем сердце горький осадок. Теперь уже мне было легко отчуждаться от Маши, и наши отношения приняли характер ссоры, необъяснимой для окружающих. Мы с ней совсем перестали говорить друг с другом. И когда однажды, за обедом, при отце и матери, выяснилось, что мы с Машей уже два месяца не обменялись ни одним словом, – отец улыбнулся, находя это, конечно, пустяком, но главное, что ни я, ни Маша не смутились: мы оба почувствовали, что в нашем разрыве нет ни резкости, ни страдания, ни комизма и что все это случилось натурально, само собою. Так прошла вся зима.

Весною, Великим постом, представился неизбежный случай прекратить это натянутое молчание. Мы говели. Перед исповедью мне нужно было подойти к Маше и попросить у нее прощения. Был светлый мартовский вечер. Я пошел к Маше спокойно, с сознанием долга. Она была в эту минуту в зале, в легкой ситцевой блузе с шлейфом. Она меня встретила на ходу. Я пересек ей дорогу, очутился с ней лицом к лицу и тихо пробормотал: «Прости меня, Маша»... Она меня по-братски поцеловала в губы и с простым, добрым чувством сказала: «Бог простит». Сердце мое слабо екнуло; это был первый и единственный поцелуй в губы. На меня повеяло

запахом пудры от ее лица и обдало теплотой этого все-таки нежного поцелуя. На Пасхе между нами установились дружеские, ласковые отношения с примесью какого-то милого, невысказанного чувства, которое походило на радость выздоровления от общей болезни. Здесь была и нежность, и великодушие, и взаимная любезность, без раздора и без тревоги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.